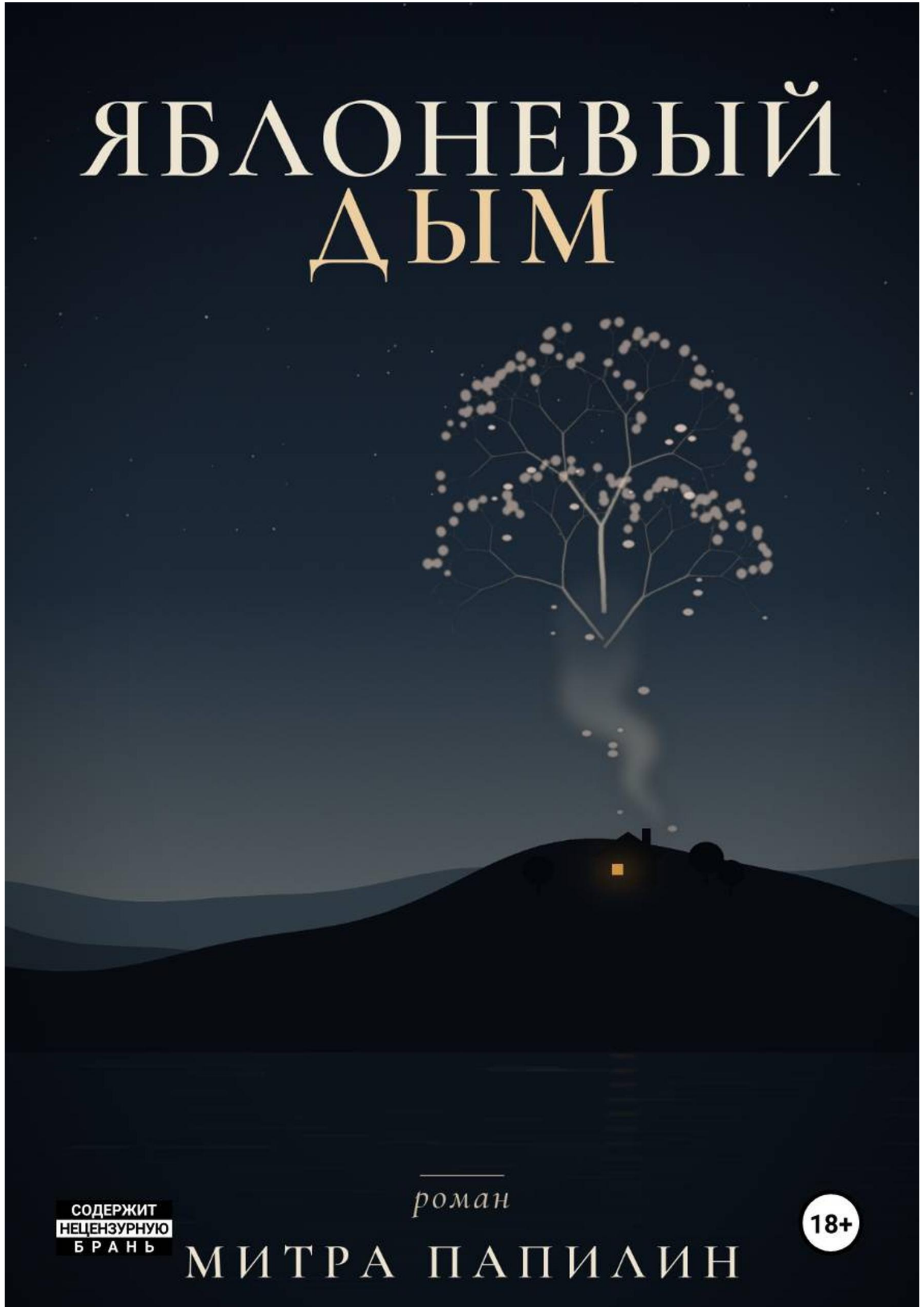
ЯБЛОНЕВЫЙ ДЫМ



роман

СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

18+

МИТРА ПАПИЛИН

Митра Папилин

Яблоневый дым

«Автор»
2026

Папилин М.

Яблоневый дым / М. Папилин — «Автор», 2026

Старик на другом конце света чувствует запах яблоневого дыма, и вся его жизнь, от волжского села до Сибири, от саратовской коммуналки до Новой Зеландии, возвращается разом, вместе с каждым молчанием, которое когда-то стоило другому человеку слишком дорого.

© Папилин М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Данидин, апрель 2024 года 5
Глава 1 5
Глава 2 7
Часть вторая. Мосты, 1943–1957 8
Глава 3 8
Глава 4 9
Глава 5 10
Глава 6 11
Глава 7 12
Глава 8 14
Глава 9 15
Глава 10 17
Глава 11 19
Глава 12 20
Глава 13 21
Часть третья. Саратов, 1960–1965 22
Глава 14 22
Глава 15 23
Глава 16 24
Глава 17 26
Конец ознакомительного фрагмента. 28

Яблоневый дым

Часть первая. Данидин, апрель 2024 года

Глава 1

Я выхожу из дома в семь, когда на холме ещё лежит тень, а внизу, в бухте, вода только начинает сереть, и говорю вслух то, что мой отец говорил каждое утро, переступая порог: «Ну, пошёл». Говорю негромко, потому что сосед через забор встаёт рано и давно считает меня чудаком, русским стариком, который беседует с калиткой, и всё же здоровается каждый раз, кивая и называя меня «mate». За пятнадцать лет я привык принимать это слово за дружбу.

Маршрут у меня один, и менять его я не собираюсь: вниз по улице мимо одинаковых деревянных домов с железными крышами, к воде, потом вдоль бухты до старой пристани, где уже стоят рыбаки с термосами, и обратно в гору. Когда я только приехал, подъём занимал двадцать минут. Теперь он занимает сорок, и на полпути я останавливаюсь, чтобы отдышаться, и делаю вид, что любуюсь видом. Вид, надо признать, того стоит: холмы спускаются к воде, облака каждое утро собраны иначе, чем накануне, а город[1], в котором я живу пятнадцатый год, всё ещё кажется мне очень уютной гостиницей, где я задержался сверх положенного.

Сейчас апрель, и к этому я так и не привык. На этой стороне земли апрель – осень, листья желтеют и падают, по утрам холодно, люди достают из шкафов свитера, а моё тело, шестьдесят шесть лет прожившее в другом полушарии, всё ещё ждёт ручьёв, последнего грязного снега у заборов и тяжёлого сырого духа оттаявшей земли, ради которого мне в детстве казалось стоящим пережить зиму. Дух не приходит, приходят жёлтые листья, и каждый год я удивляюсь заново: пятнадцать лет голова знает, а нутро не верит.

С языком вышло так же. Я говорю по-английски достаточно, чтобы купить хлеб, записаться к врачу и поспорить с соседом о погоде, и этого хватает на девяносто девять дней из ста, а на сотый, когда нужно сказать что-нибудь настоящее, слов нет ни на одном языке. Первое время я объяснял это переездом, а потом заметил, что и дома, до отъезда, настоящих фраз почти не произносил, а привыкнуть к этому успел так хорошо, что принимал привычку за свой характер.

Сегодня, в среду, я дошёл до поворота у низкого дома с зелёной крышей и остановился. Я не устал и ничего не увидел, просто почувствовал запах. Кто-то в этом доме впервые за сезон затопил печь (здесь их ставят почти везде, чугунные, с дверцей на защёлке), тонкая струйка дыма поднималась из трубы, и ветер от воды сносил её на дорогу, прямо на меня. Пахло яблоней. Слова пришли минуты через две, а до них пришло всё остальное, сразу и целиком.

Я не верил рассказам о том, что перед смертью вся жизнь проходит перед глазами. Мне казалось, что их выдумали люди, которые сами не умирали, и сегодняшний поворот не изменил бы моего мнения, будь там картинки. Картинок не было. Воспоминание требует расстояния: ты здесь, а прошлое там, и ты к нему обращаешься, – а тут расстояние пропало. Я стоял на дороге в чужой стране, и сидел на корточках в отцовском саду, и целовал девочку, у которой волосы пахли дымом, и сидел в третьем ряду маленького зала, глядя на свои руки, и держал жену за руку, когда её уже не было, и всё это происходило одновременно и уместилось в один вдох. Потом человек с лабрадором сказал «morning», и я опять оказался стариком с дрожащими коленями, который держится за чужой штакетник.

---

[1] Данидин (англ. Dunedin) – город на юго-востоке Южного острова Новой Зеландии, в регионе Отаго, на берегу бухты Отаго-Харбор.

Домой я шёл так быстро, как не ходил, наверное, лет десять, потому что боялся, что запах выветрится раньше, чем я успею добраться, и вместе с ним уйдёт остальное. Чай я заваривать не стал, куртку не снял и даже не разулся. Из ящика стола достал толстую тетрадь в клетку, которую дочь подарила мне прошлым летом и в которую я за год записал два рецепта и один адрес, сел у окна и начал писать, и пишу до сих пор. За окном взошло солнце, дым в доме с зелёной крышей давно рассеялся, и мне остаётся надеяться, что памяти хватит до конца.

Глава 2

Дочь, Лена, давно уговаривает меня написать воспоминания для внука. Саше двадцать три, он родился здесь, по-русски понимает всё, а говорит так, как говорят дети эмигрантов, с небольшим акцентом и без падежей, и ему, по словам Лены, любопытно, откуда он взялся, но я отказывался, потому что не знал, что писать. Что дед родился в избе, окончил университет, искал воду и нефть и дожил до восьмидесяти одного года? Всё это правда, но из неё ничего не следует. Теперь я пишу, но не для Саши и вообще не для кого-то определённого, а чтобы сложить рядом то, что я прожил порознь.

Сразу скажу, чтобы не было недоразумений: это не исповедь. Исповедь пишет человек, который надеется на отпущение, а мне отпускать некому. Те, перед кем я виноват, умерли или ничего от меня не ждут, а перед собой я давно оправдываюсь так ловко, что оправдания перестали что-нибудь значить. Это отчёт. Я геолог, всю жизнь по керну[2], поднятому с глубины, восстанавливал историю земли и знаю правило, которое считаю верным и для людей: нельзя выбрасывать неудобный слой. Если порода где-то лежит не так, как должна, значит, там что-то произошло, и объясняет остальное как раз этот слой, а не гладкие соседние. Свою жизнь я хочу прочесть так же, и если хватит сил и честности, получится картина вернее той, которую я полвека рассказывал сам себе.

Должен предупредить и о другом: свидетель из меня ненадёжный. Даты я могу проверить арифметикой, а сцены, лица и чужие слова не проверить ничем, и мне случалось ловить себя на том, что воспоминание, которое я лет сорок считал дословным, составлено из двух-трёх разных вечеров и подогнано так аккуратно, что шва не найти. Любой геолог знает, что слои со временем сдвигаются, мнутся и местами меняются, и по одному разрезу нельзя сказать, где порода лежала сначала, а где её переложило давлением. Читать всё, что дальше, надо с поправкой на меня. Я стараюсь не лгать, но не поручусь, что не лгу, и там, где прошлое окажется слишком складным, это, скорее всего, моя работа.

Перед тремя людьми у меня долг, и я назову их сразу, чтобы потом не путаться. Первый – отец, которого я не расспросил, пока он был жив, и не понял, пока ещё было можно. Вторая – Вера, которой я не сказал одного слова в тот единственный раз, когда оно что-то решало. Третий – Гена Рябов, которому я не сказал другого слова в другой единственный раз, и это второе молчание обошлось ему дороже, чем первое мне. Есть ещё жена, Тамара, но с ней у меня другое: обещание, которое я не выполнил, и о нём я расскажу отдельно.

Тетрадь толстая, на девяносто шесть листов, так что места хватит на всё, начиная с отцовского сада.

[2] Керн – цилиндрический образец горной породы, который извлекают из скважины при бурении; по нему геологи изучают состав и строение пород на глубине.

Часть вторая. Мосты, 1943–1957

Глава 3

Родился я в марте сорок третьего в селе Мосты, на правом берегу Волги, в избе с земляным полом и соломенной крышей, которую мой дед Иван перекрывал каждые шесть лет, и в первые месяцы моей жизни отца дома не было. Его призвали летом сорок второго. Куда он попал, мать узнала только осенью, из единственного письма, а потом письма прекратились, и в июне сорок третьего ей принесли бумагу, но не похоронку, а извещение, что красноармеец Ларин А.И. пропал без вести. Сельские бабы, потерявшие мужей, ходили в чёрных платках. Моя мать носила серый, потому что в чёрном ей казалось, что она хоронит живого.

Село называлось Мосты по двум деревянным мосткам через овраг, которые давно сгнили и были заменены насыпью, но название осталось, и на карте его можно было найти, если знать, где искать: полсотни дворов на высоком берегу, церковь без креста, где держали зерно, колхозная контора, сад, фельдшерский пункт и школа-семилетка в бывшем купеческом доме. Отсюда до Саратова было сто сорок километров по шоссе, которое тогда было просто дорогой с булыжником, а до станции тринадцать, и если зимой случалось заболеть, то фельдшерица Зоя Макаровна мерила температуру, ставила банки и говорила, что остальное в руках божьих и колхозного председателя, смотря у кого лошадь.

Вдов с похоронкой в Мостах жалели вслух, а мою мать не знали, как жалеть. Муж, пропавший без вести, мог оказаться убитым и мог оказаться в плену, а слово «плен» бабы произносили, понизив голос и оглянувшись на дверь. Мать делала вид, что не слышит. Она работала сначала на ферме, потом на огородах и приходила затемно с руками, которые я помню красными, потрескавшимися, пахнувшими землёй и коровой, а я рос у деда на печи и до двух с половиной лет считал, что отцом называют икону в красном углу, перед которой по вечерам стояла бабушка Фёкла, шевеля губами.

Дед Иван был сухой, нетороплив, с длинными, на удивление чистыми руками плотника. Он учил меня вязать узлы, и в первых моих воспоминаниях есть его голос, который говорит: «Не дёргай. Затягивай, как будто нитку в иголку вдеваешь». Сам он умер зимой сорок восьмого, на той же печи, в январе, и перед смертью попросил, чтобы ему принесли яблоко из погреба, хотя яблок там к январю уже не оставалось. Мать пошла и нашла одно, мятое, с коричневым боком, из тех, что катились за ящик и лежали до весны. Дед надкусил его, пожевал и сказал: «Антоновка». Больше он в тот день ничего не говорил.

Глава 4

Отец вернулся в ноябре сорок пятого. Помню я это обрывками: серый день, голые ветки, грязь на дороге от станции, и по этой грязи идёт человек в выцветшей шинели, левая рука у него подвешена на косынке, и рядом с ним, не касаясь, на шаг позади идёт моя мать. Она не побежала. Это я знаю точно, потому что потом долго удивлялся: в песнях и в кино женщины бегут, а она шла медленно и ставила ногу осторожно, будто боялась, что у человека в шинели окажется чужое лицо. Я стоял на крыльце и не пошёл навстречу. Не знал, что мне с ним делать, и до сих пор помню стыд маленького ребёнка перед чужим мужчиной, которого полагается любить.

Он вошёл в избу, снял шапку, перекрестился на иконы, и я увидел, что он делает это левой рукой, согнутой в локте, а правая висит вдоль тела. Потом он посмотрел на меня, сел на корточки и протянул ладонь, на которой лежал кусок сахара, серый, со следами махорки. Я взял. Это был первый сахар в моей жизни, и я не знал, что с ним делать, и держал его в кулаке, пока он не растаял и не склеил мне пальцы, а отец смотрел на мои руки и ничего не говорил.

Любить его оказалось нетрудно. Он был молчалив и надёжен, и от него пахло махоркой, кожей и чем-то ещё, чему я тогда не знал названия, а теперь знаю: землёй, из которой он не мог выбраться до конца. Рука срослась плохо и работала вполсилы, поэтому в колхозе его поставили сторожем на фруктовый сад, посаженный до войны, и этот сад стал единственным местом, где он, мне кажется, чувствовал себя дома. Платили трудоднями[3], которых хватало, чтобы не умереть с голоду, и не хватало на ботинки. Ботинок у меня до двенадцати лет не было: зимой я ходил в валенках, а летом босиком, и ступни к августу становились такими, что я мог пройти по стерне.

По вечерам, когда мать уходила к соседке или возилась со скотиной, отец сидел на лавке у окна и вырезал что-нибудь перочинным ножом: ложку, набалдашник для палки, свистульку мне. Он вырезал, а я стоял рядом и смотрел, и однажды спросил, где у него болит, и он ответил: «Там, где не видно», а подумав, добавил: «Не бери в голову, Миш. Пройдёт». Я тогда решил, что всё пройдёт, и это было моё первое заблуждение, из тех, что остались со мной надолго.

[3] Трудодень – условная единица учёта труда колхозника в СССР, по которой в конце года распределялась часть продукции и доходов колхоза; применялась до 1966 года, когда колхозникам ввели гарантированную денежную оплату труда.

Глава 5

Каждое утро, в любую погоду, отец вставал затемно, надевал телогрейку, брал палку из черёмухи с набалдашником, который сам вырезал, и, остановившись у порога, говорил: «Ну, пошёл». Он говорил это ни нам, ни матери, а в пустую избу. Я долго считал, что это молитва, особая, мужицкая, без бога и без слов. К сорока годам я решил, что так оно и было, только обращена она была к самому дню: что день придётся прожить до вечера и что деваться некуда.

Люба родилась в августе сорок шестого, ровно через девять месяцев после отцова возвращения, и вся изба в то лето жила ожиданием: мать ходила тяжело, отец носил ей воду из колодца и не позволял поднимать ведро. Роды принимала Зоя Макаровна, при закрытых ставнях, жарко, и я сидел на печи, и слышал, что мать кричит, и боялся, и не понимал, чего. Люба родилась маленькой, красной, с чёрными волосами, и отец, взяв её на руки левой рукой, долго смотрел и сказал: «Здравствуй, Любовь Андреевна». Больше я не слышал, чтобы он называл кого-нибудь по отчеству.

Из голодного сорок седьмого[4] я помню немного, мне было четыре. Помню вкус лебеды, из которой мать пекла лепёшки, горькие, липнущие к зубам, и то, что отец ушёл в то лето из дому ночью, а утром вернулся с мешком картошки, которую нигде не брал и ни у кого не крал. Он выменял её, как я узнал много лет спустя, на шинель, в которой вернулся с войны. Он ни разу об этом не заговорил. Я заметил только, что всю следующую зиму он проходил в одной телогрейке, а мать глядела на него, сжимала губы и молчала.

Люба прожила восемь месяцев. К весне сорок седьмого у матери пропало молоко, лепёшки девочка не принимала, и она умерла в апреле, ночью, на печи, рядом со мной. Я проснулся оттого, что мать не издавала ни звука, а только качала её, не останавливаясь, часа два. Утром отец сколотил из досок от сломанной двери маленький ящик и пошёл на кладбище копать, а земля, ещё мёрзлая внизу, не поддавалась, и он вернулся к обеду с содранными до мяса ладонями, и никто не заметил, что он не ел. Мне, четырёхлетнему, не объяснили, куда делась Люба, и я не спрашивал. Только лет через десять мать при мне произнесла её имя, мимоходом, между делом. Когда я слышу детский плач в чужом доме, я вспоминаю, как мать два часа качала неподвижного ребёнка и ничего не говорила.

Зимой того года отец в первый раз заплакал при мне. Мы с ним пошли в сад, посмотреть, не поломало ли ветром ветки, и у забора, там, где потом жгли обрезки, он остановился, положил левую руку на кору старой яблони и стоял так долго, что я начал зябнуть. Потом я увидел, что плечи у него дрожат, но звука не было, только дыхание, частое и сиплое. Я стал рядом и взял его за рукав. Он не повернулся, сказал: «Иди домой, Миш», и я пошёл, оглядываясь, а он так и стоял у яблони. Когда он вернулся, лицо у него было обычное, и обедали мы молча.

[4] Голод 1946–1947 годов охватил значительную часть СССР, в том числе Нижнее Поволжье; пик пришёлся на весну 1947 года. По одной из оценок историков, от голода погибло от одного до полутора миллионов человек.

Глава 6

Летом сорок восьмого, мне было пять, вся деревня на неделю переезжала на луга. Сено косили на острове посреди Волги, куда добирались на трёх колхозных лодках и одном плоту, и накануне отъезда избы пустели, как перед пожаром: мужики паковали косы, бабы укладывали в мешки хлеб, лук, сало, если оно было, и чугунки, а ребятишки носились между дворами, потому что на лугах разрешалось не слушаться. Мать собралась за один вечер. Положила в мешок две буханки, чугунок, одеяло и мою рубашку, и отец, глядя, как она завязывает узел, сказал: «Анна, хоть раз возьми шаль, ночи холодные». Она взяла.

На острове мы жили в шалаше из жердей и травы. Мужики косили с рассвета, пока была роса, и я помню звук, к которому привыкаешь за день и перестаёшь слышать, а ночью, когда он вдруг пропадает, просыпаешься: шорох косы, ровный, непрерывный, похожий на дыхание, и пока он есть, кажется, что всё в мире идёт как положено. Отец косить не мог, рука не позволяла, и ему поручили ворошить сено граблями и сгребать в копны. Он работал медленно, но без остановки, и к вечеру второго дня бригадир, Кузьма Савельевич, подошёл к нему, постоял и сказал: «Ларин, ты бы лучше с одной рукой, чем иные с двумя». Отец промолчал, но лицо у него стало такое, какого я у него раньше не видел.

Мать в те дни переменилась, и объяснить, как это выглядело, мне трудно: в избе она двигалась и говорила осторожно, а на лугу стала прежней, молодой: смеялась с бабами, подвязывала косынку по-девичьи, на уголках, и один раз, во вторник, когда мужики вытащили из реки сеть с тремя большими щуками, она засмеялась в голос, запрокинув голову, так что я, сидевший у шалаша, оглянулся, не веря. Я не слышал, чтобы она так смеялась, ни до этого, ни после. Отец стоял в двадцати шагах с граблями, и я увидел, как он смотрит на неё, и лицо у него при этом было неподвижное и растерянное, и я не сразу догадался, что он слушает.

Вечером того же дня мать взяла меня купаться. Вода у острова была тёплая, жёлтая от заходящего солнца, и она держала меня на ладонях и говорила: «Не бойся, дыши ровно, я тебя не отпущу». Потом отпустила, чуть-чуть, на два пальца, и я, почувствовав, что держусь сам, заорал от восторга и стал бить по воде руками. «Плывёшь! – смеялась она. – Миша, плывёшь!» Я плыл метра три, до её вытянутых рук, и когда она подхватила меня, я увидел, что она плачет. Не от горя. Слёзы текли у неё по щекам и падали в воду, и она смеялась и плакала сразу и сказала: «Лишь бы вы с отцом были». Про Любу она не сказала ничего, но я знаю, что говорила она и о ней.

Ночью жгли костёр. Бабы запели, сначала тихо, потом громче, и в эти песни, которых я не знал и до сих пор не вспомню по словам, входили все голоса, высокие и низкие, и я лежал, укрывшись одеялом, смотрел на огонь и на чёрное небо над ним, где звёзд было столько, сколько я после этого видел только раз, много лет спустя, в Сибири, в ноябре. Отец сидел у костра, чуть в стороне, и вырезал свистульку из ивовой ветки. Я заснул, не дождавшись, когда он закончит, и проснулся утром с этой свистулькой в кулаке.

Через неделю мы вернулись в Мосты на тех же лодках, нагруженных копнами, и я почти не помню дороги. Помню только, что у мостков, где причаливали, нас ждала Фёкла, моя бабушка, которая вышла на берег с палкой и сказала: «Ну как, живы?» Мать ответила: «Живы, мама». Я подумал, что в этом слове есть что-то странное, но не понял, что, и понял только годы спустя: на лугу, в ту неделю, мы были живы так, как потом бывали очень редко.

Глава 7

Яблони в том саду были старые, с растрескавшейся корой, и каждую весну, в апреле, когда сходил снег, но земля под ним ещё стояла холодная, отец обрезал сухие ветки и жёг их в яме у забора. Дым был густой, сладковатый, с лёгкой горчинкой, и это тот самый дым, который я сегодня почувствовал на другом конце земли. Я помогал ему, носил охапки и бросал в огонь, а он стоял рядом, опираясь на палку здоровой рукой, и смотрел на пламя. Иногда он говорил: «Дерево без обрезки родит, но мелко». Больше ничего он мне не объяснял, ни про жизнь, ни про бога, ни про войну.

Когда мне было девять, я нашёл в сарае его складной нож с костяной ручкой, потемневшей от пота, достал без спроса и порезал палец до кости. Я так испугался, что не заплакал, а пошёл и показал отцу. Он не рассердился. Он перевязал мне палец чистой тряпкой, посмотрел на меня и сказал: «Нож не игрушка. Он помнит каждую руку, что его держала». Отдал мне этот нож отец в тринадцать лет, просто положив на стол рядом с тарелкой, и теперь он лежит в верхнем ящике моего стола, в метре от места, где я пишу.

Осенью пятидесятого, когда мне было семь, голод давно кончился и вроде бы забылся, в саду начали пропадать яблоки. Немного, не больше ведра в неделю, но колхозное имущество в те годы считалось неприкосновенным, и после указа сорок седьмого года[5] за такое ведро могли дать лагерь на годы. Председатель Никодим Степанович, грузный, с красным от самогонки лицом, вызвал отца в контору и сказал, что если к концу сезона недостача не прекратится, ответит сторож, а с его биографией, так он выразился, ему лучше не рисковать. Отец вернулся домой и ничего не рассказал, но вечером взял керосиновый фонарь с закопчённым стеклом и ушёл в сад. Я пошёл за ним без спроса и спрятался за стволом у забора.

Ждали мы долго, больше часа. Над садом поднялась луна, я замёрз и стучал зубами, и мне казалось, что отец услышит. Потом у дальнего края забора зашевелилась тень, перелезла через жердь, остановилась под яблоней, и отец шагнул вперёд и поднял фонарь, и в его свете я увидел тётку Дуню Кравцову, нашу соседку через два двора, вдову, у которой было четверо детей и которую я привык видеть с красными от стирки руками. В руках у неё был мешок, наполовину полный. Она стояла, глядя на фонарь, и не пыталась ни бежать, ни оправдываться, только опустила мешок на землю и сказала: «Андрей Иванович, дети у меня».

Отец смотрел на неё очень долго. Я видел, как ходит кадык на его шее, и понимал, что происходит что-то большое, чему я не знаю названия. Потом он сказал: «Высыпь обратно, а мешок возьми. Яблок я не видел». Дуня заплакала негромко и ушла, перелезая через жердь тяжело, как старуха, хотя ей не было и тридцати пяти.

Мы возвращались по тропинке между грядок, и я спросил его, потому что был мал и не умел молчать: «Пап, а если бы она не заплакала, ты бы сказал председателю?» Отец остановился и стоял, глядя на луну. «Не знаю, – сказал он наконец. – Хочется думать, что нет. Но про себя человек не всё знает, пока не придёт его час».

Недостачу ему записали в конце октября, вычли из трудодней за весь год, и мать три дня не разговаривала ни с ним, ни со мной, потому что вычли то, что было отложено на дрова и на мою одежду. На четвёртый день она села напротив него и спросила: «Ты о нас думал?» Отец ответил: «Думал». Больше они об этом не говорили. Тётка Дуня при встрече стала низко кланяться ему, почти до земли, чего он терпеть не мог и от чего каждый раз отворачивался и начинал возиться с воротами или упряжью, потому что благодарность за тот мешок была ему, видимо, тяжелее самого мешка.

---

[5] Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества» предусматривал лишение свободы на длительные сроки.

Когда я пересказал этот случай Лене за обедом, она спросила, как я, семилетний, мог разглядеть в свете закопчённого фонаря лицо тётки Дуни и увидеть, как ходит кадык у отца, стоявшего спиной к луне, и я не нашёлся, что ответить. Скорее всего, не мог. Лицо я, вероятно, дорисовал потом, из других лиц, которые встречал в жизни, а кадык взял у себя, у того, кто сидел в зале на втором этаже и не мог проглотить слюну, и память, как видно, делает то же, что и я: подгоняет одно к другому, пока не станет похоже на правду.

В семь лет я решил, что отец поступил хорошо. Много лет спустя, взрослым, я решил, что он поступил глупо, потому что подставил свою семью ради чужой. Сейчас, когда мне восемьдесят один, я думаю, что он сделал то, что мог, зная, что платить придётся ему самому, и заплатил сам, не переложив на других. Из всего, что я перечувствовал по этому поводу, последнее мне кажется самым правдоподобным.

Глава 8

В Мостах учились семь лет, и школа была большой, бывший купеческий дом с высокими потолками, печами в изразцах и скрипучей лестницей на второй этаж, где в классе с окнами на Волгу вела историю и литературу Прасковья Ильинична, эвакуированная из Москвы в сорок первом и оставшаяся после войны, потому что возвращаться было некуда. Она носила одно и то же серое платье, пенсне на шнурке и ходила очень прямо. Мы её боялись и любили, и она знала, что мы её боимся, и как-то незаметно для самой себя приучала нас к тому, что можно спросить.

Мне она однажды дала второй том Лермонтова в потёртом переплёте и, не глядя на меня, велела прочитать «Мцыри» и сказать, что я о нём думаю, только честно, а не как в учебнике. Я прочитал за две ночи при коптилке и, когда пришёл отвечать, обнаружил, что не умею, и выдавил лишь, что он убежал, а на её вопрос, куда, сказал: «К себе». Прасковья Ильинична чуть улыбнулась: «Недурно для двенадцати лет». С того дня она давала мне книги, не спрашивая, что я о них думаю, потому что поняла, что я пойму сам, но не скажу.

В пятьдесят втором, в октябре, сын бригадира Шмакова крикнул мне при всех, на перемене, у крыльца: «А твой отец у немцев сидел!» Я бросился на него, не соображая, и разбил ему нос, а потом мне самому разбили губу, и вечером я пришёл домой в крови и с порванной рубахой. Отец выслушал меня, не перебивая, смыл кровь, перевязал губу и сказал, что подрался – значит, заплатил, и больше за это драться не надо, а на мой вопрос, почему, ответил: «Потому что он не соврал».

Вот так одной фразой я узнал то, что мать скрывала от меня до девяти лет, а отец, как оказалось, никогда не скрывал, но и не рассказывал. Я попытался расспросить его, он ответил: «Вырастешь – поймёшь» и отошёл к окну, и я больше не спрашивал: у человека, которому не хватает слов, нельзя требовать, чтобы он их искал.

Вера росла в соседнем дворе, через забор. Её отец, Фёдор Сомов, плотничал и сторожил колхозную пасеку, и у него на правой руке не хватало двух пальцев, о чём в доме не говорили, а мать её, Марья, красивая, с тяжёлой русой косой, бранила его вполголоса за каждый гвоздь, вбитый не там. Вера для меня существовала всегда, сколько я себя помнил: с косичками, с коленками в зелёнке, с привычкой кричать на всю улицу и драться портфелем. Мы вместе купались в Волге у песчаной косы, вместе лазили по оврагу за ежевикой, и в арифметике она меня обгоняла, это я помню отчётливо, потому что в четвёртом классе решила задачу, которую не решил я, и сказала на весь класс: «Ларин, ты думаешь слишком медленно, а считаешь слишком быстро». Что она имела в виду, я понял только в университете.

Она была из тех детей, которые смотрят на вещи прямо. Когда в пятьдесят третьем умер Сталин, в школе устроили линейку, и все плакали, одни искренне, другие нет, а Вера стояла рядом со мной с сухими глазами, и когда учитель обернулся, она вдруг заплакала громко, навзрыд, так что он подошёл и положил ей руку на плечо, а потом, вечером, пока мы шли домой по оврагу, она сказала мне: «Я не знаю, почему я плакала. Все плакали, и мне стало страшно, что я одна не плачу». Я хотел сказать, что со мной было так же, но промолчал, и она взглянула на меня сбоку, чуть насмешливо, и больше ничего не добавила.

Глава 9

Бабушка Фёкла умерла в марте пятьдесят третьего, на следующий день после того, как по радио объявили, что умер Сталин. Я запомнил это потому, что всё село в те дни ходило с серыми лицами, и мать, слушавшая репродуктор, повторяла: «Что же теперь будет, что будет», а бабушка, лежавшая на печи, куда её уже вторую неделю перенесли из горницы, сказала: «Будет весна». Это были её последние слова, обращённые ко всем. Мне было десять, и я долго считал, что бабушка предсказала то, о чём никто не догадывался, а потом понял, что она просто говорила о погоде.

Фёкле было семьдесят шесть, и всю жизнь она прожила в одной избе, в которой родила восьмерых детей и похоронила шестерых. Из восьмерых выжили двое: моя мать, которую в семье звали Анютой, и старший, Степан, уехавший в тридцатых на заработки в Баку и не вернувшийся. Она была сухая, прямая, с кожей цвета печёного яблока, и руки у неё, когда она молилась перед иконой, дрожали мелкой дрожью, которая у стариков не проходит. Она ходила к заутрене до самого конца, не в церковь, которую в тридцатых закрыли и превратили в склад, а в дальний угол избы, где под образами стояла лампадка, которую она никогда не гасила.

Последнюю неделю она не ела. Мать варила ей кашу, потом кисель, потом просто воду с мёдом, и бабушка отодвигала и говорила, что своё доела. Я заходил к ней после школы, приносил молоко, садился на лавку и смотрел, как она дышит, и однажды она открыла глаза, подозвала меня и потребовала правую руку, взяла её в свои сухие руки и держала минут десять, не говоря ни слова, а я не решался отнять, и мне было страшно и неловко. «Хорошая рука, – сказала она наконец. – Рабочая. Не отцова». Я не понял, что это значит. Она, видимо, имела в виду, что у отца рука изувечена, а у меня здоровая, но прозвучало как приговор.

Умерла она ночью, под утро, и мать, спавшая рядом на лавке, проснулась от тишины. Она встала, подошла к печи, посмотрела, потом перекрестилась, и тихо, не заплакав, сказала: «Мама». Только это. Потом разбудила отца, и он, в нижней рубахе, босой, вошёл в избу, постоял и сказал: «Надо баню топить». Мать кивнула. Баня, по обычаю, требовалась для обмывания, и я, десятилетний, с утра таскал воду из колодца, а отец колол дрова одной рукой, зажимая полено коленом, и каждый удар топора отдавался у меня в груди.

Обмывали бабушку женщины, из тех, что в селе знали это дело: Зоя Макаровна, старуха Прасковья Ильинична, которая прежде была моей учительницей, и ещё одна, из соседней деревни. Мужчин в баню не допускали, и я стоял с отцом на улице, у двери, и слышал изнутри плеск, шёпот и один раз тихий смешок, который сразу прервали. Мне было непонятно, как можно смеяться при этом, и я посмотрел на отца, а он, не поворачивая головы, сказал: «Они так делают. Чтобы не плакать». Тогда я впервые увидел, что смеяться и плакать можно одновременно.

Хоронили на третий день, в мёрзлой, ещё не оттаявшей земле. Могилу копали шесть мужиков, сменяя друг друга, и работа заняла у них полдня. Пришло почти всё село, потому что бабушку знали, а по дороге к кладбищу, когда гроб, поставленный на сани, тянули двое мужиков, женщины шли следом и пели, тихо, то, чего я не знал. Отец шёл сзади, с непокрытой головой, и ветер трепал его волосы, и я смотрел на его затылок и думал, что он идёт так, как, наверное, шёл по лагерной дороге, тоже за чьим-то гробом, только тогда у него не было права плакать.

На поминках, в избе, за столом, сидели человек тридцать, и мужики, выпив, заговорили о Сталине. Я сидел на печи, как в детстве, и слушал. Кузьма Савельевич, бригадир, говорил, что без вождя нельзя, что теперь начнётся неразбериха, а другой мужик, незнакомый, из дальней деревни, возражал, что вождь тоже человек и что будет, как будет. Отец сидел в конце стола и молчал, и когда спор стал острым, сказал: «Мужики, давайте поминать Фёклу. О вождях

потом». Сказал негромко, без нажима, но все смолкли, и я понял, что отец в селе человек, чьё слово слушают, хотя он ничего никогда не добивался.

После этого я почти не заходил в бабушкину избу, которую мать закрыла на замок, и когда через семь лет, перед моим отъездом в город, мы с матерью зашли туда в последний раз, я увидел лампадку, которая стояла на том же месте, потухшая, с засохшим фитилём. Мать долго смотрела на неё, потом подошла, взяла, засунула в карман своего фартука и сказала: «Заберу. Нечего ей здесь стоять». Лампадка теперь у Лены, в Данидине, на той же полке, где стоит жестяная коробка, в которой хранятся письма Тамариного отца, и когда я вижу их вместе, мне кажется, что в этой комнате живут люди, которые никогда не были знакомы и которых объединяет только то, что они ничего не говорили вслух.

Глава 10

В январе пятьдесят пятого отец взял меня с собой в Саратов. Ему нужно было получить в областном питомнике черенки для прививки: колхоз собирался подновлять сад, и председатель, который ещё помнил недостачу пятидесятого года и до сих пор поглядывал на отца с опаской, вдруг распорядился, чтобы Ларин ехал сам, потому что понимает. Мне шёл двенадцатый год. Мать долго собирала нас в дорогу, укутывала, совала в карманы хлеб, и когда мы выехали затемно на санях, запряжённых колхозной кобылой, было так холодно, что дыхание замерзало на воротнике.

До станции мы ехали молча. Полозья скрипели, кобыла фыркала, и отец сидел впереди с вожжами в здоровой руке, а я сзади, под тулупом, и смотрел на звёзды. В поезде, который шёл до города часа четыре, он дремал, откинув голову, и лицо его, когда он спал, оказалось неожиданно молодым, без привычной сжатости вокруг рта. Я смотрел и думал, что вот человек, о котором я знаю меньше, чем о соседской корове.

Питомник стоял на окраине, за трамвайной линией, длинное низкое здание с теплицами, где пахло землёй, мокрым деревом и чем-то лекарственным. Агроном, немолодая женщина в очках, отобрала для нас два пучка черенков, обернула в мокрую мешковину, перевязала и сказала отцу: «Вы, товарищ Ларин, видно, понимаете. Редко кто знает, какой взять сорт». Отец взял пучок, поднёс к лицу, понюхал срез и сказал: «Антоновка, это пойдёт. Это для надёжности». Женщина улыбнулась. Я никогда не видел, чтобы на отца кто-то смотрел так, как смотрела она: с уважением, которого он, кажется, не замечал.

Обратно мы ехали вечером. На станции, пока ждали поезд, он купил мне в буфете стакан сладкого чаю и кусок хлеба с колбасой, и я съел всё до крошки, а он сидел рядом и смотрел, как я ем. К ночи начал мести буран. Поезд остановился в поле, постоял час, потом пошёл дальше, а когда мы вышли на нашей станции, ветер валил с ног, и кобыла, привязанная у коновязи, стояла вся белая. Отец посмотрел на небо, потом на меня и сказал: «Не доедем. Переждём».

В трёх километрах от станции стояла будка путевого обходчика, и мы добрались до неё за час, согнувшись, держась друг за друга. Обходчик, старик с густыми усами, пустил нас без вопросов, налил кипятку и показал на нары в углу. Печь в будке топилась хорошо, было жарко, и отец, снимая тулуп, достал из кармана плоскую бутылку, плеснул себе в кружку, выпил, помолчал и налил ещё. Старик спал в соседней комнате, и мы остались вдвоём, при свете керосиновой лампы, под гул ветра.

Я не помню, с чего он начал; помню, что сидел на нарах, подтянув ноги, и смотрел на огонь в приоткрытой дверце печи, когда отец сказал, не поворачивая головы, что был у него в лагере друг, Колька из Тамбова, года на три младше, который в феврале заболел тифом или просто выбился из сил. «Лежал рядом со мной две недели, – сказал отец. – Я его грел, как мог. На четвёртый день ему стало лучше, а на десятый он опять потух, и я лежал и слушал, как он дышит, а потом перестал слышать». Он замолчал надолго, и я не шевелился, боясь, что он очнётся и не продолжит. «Утром пришли и вытащили. А я лежал и думал: хорошо, что не я».

Я спросил, что было дальше, и он посмотрел на меня так, будто только теперь заметил, что я рядом. «Дальше ничего. Лежал». Потрогав ладонью лоб, он добавил, чтобы я забыл услышанное, потому что это не для мальчишки, и когда я ответил, что не забуду, вздохнул: «Знаю, что не забудешь. Тогда запомни так: что бы ты ни слышал, виноват не тот, кто выжил».

Потом он спросил, почти равнодушно, уеду ли я в город, когда кончу школу, и на моё удивление ответил, что мать меня отпустит и он тоже, только возвращаться не надо, если там лучше. Он выпил остаток из кружки и посмотрел на меня: «Слышишь? Не возвращайся из-за нас. Там тебя будут любить, а здесь будут помнить».

Я кивнул, потому что не понимал, что отвечать. Он лёг на нары, отвернулся к стене, и через пять минут я услышал его ровное дыхание. Я лежал рядом, слушал ветер и думал о Кольке из Тамбова, которого никогда не видел и по которому, казалось, должен был теперь носить траур. Утром буран стих, небо стало бледно-голубым, и когда мы вышли, отец поправил вожжи, посмотрел на дорогу, на белую степь, на чёрную точку в конце, где стояло наше село, и сказал: «Ну, пошёл».

Больше он никогда не рассказывал о лагере, а через два года умер, не успев ничего прибавить, но тот вечер у печи, в чужой будке, остался во мне отдельным слоем, и я не раз думал, что это был, пожалуй, единственный раз, когда отец отдал мне что-то целиком, не пряча, а я принял, не понимая, что принимаю.

Глава 11

Отец умер в пятьдесят седьмом, в феврале, от сердца. Взрослые объясняли это его раной и тем, что он надорвался на работе, но мне кажется, что он просто устал: одиннадцать лет подряд вставал каждое утро и говорил «ну, пошёл», а потом однажды встал, сказал это и не дошёл до двери. Я лежал на печи и слышал, как он оделся, взял палку, сказал, и потом звук, которого я не забуду: глухой, неторопливый, как падает мешок. Мать вскрикнула. Я спрыгнул, и он лежал на боку у порога, и лицо у него было спокойное, даже слегка удивлённое, а палка откатилась к печи.

Мне было тринадцать, почти четырнадцать. Хоронили его на третий день, в воскресенье, на кладбище на горе за селом, при морозе в двадцать градусов, и земля была твёрдая, как камень, так что мужики разожгли костёр, чтобы её оттаять, и копали два часа. Я стоял в его валенках, потому что мои прохудились, и смотрел, как опускают гроб, и не плакал. Думал я при этом о ерунде: что весной надо будет обрезать яблони и что делать это теперь некому. Много позже я понял, что это и была моя первая настоящая мысль об отце: не о любви и не о прощании, а о деле, которое осталось без рук. В нашем доме умели говорить только так, и даже горе я думал на этом языке. Мать держалась за мою руку так, что остались синяки.

После поминок, когда ушли соседи и дом наконец притих, мать достала из-под сундука жестяную коробку из-под чая. В ней лежали четыре предмета: красноармейская книжка, истёртая на сгибах, два письма довоенного времени и сложенная вчетверо серая бумага с печатью, где машинописными буквами было напечатано, что гражданин Ларин А.И. прошёл проверку в проверочно-фильтрационном лагере[6] и возвращён к месту жительства. Дата стояла октябрьская, сорок пятого года. Мать положила бумагу передо мной на стол и сказала: «Читай. Только никому. Он сам не велел».

Рассказала она то, что знала, а знала она немного. Отец попал в плен в марте сорок третьего под Харьковом, раненый в руку, без памяти, и больше двух лет был в лагере, где именно, он не говорил, а она не спрашивала. В сорок пятом его освободили, но домой он не вернулся, а оказался в другом лагере, нашем, где месяцами проверяли каждого вернувшегося: как попал, что делал, не служил ли немцам. «Они спрашивали одно и то же, – сказала мать, – а он отвечал одно и то же, и бумагу эту дали, потому что он нигде не соврал и никого не оговорил. Другие оговаривали, чтобы выйти».

Она замолчала и долго смотрела на печь. Потом сказала фразу, которую я запомнил, хотя тогда понял только половину: «Он говорил: слова, Аня, лучше не давать, из слов они делают дело. Он и мне не давал лишних, думал, так спокойнее. А мне, Миша, всю жизнь не хватало одного слова: чтобы он хоть раз сказал, что не стыдится».

В ту ночь я лёг на печь и не спал, лежал и смотрел в темноту, и вдруг понял, откуда его «ну, пошёл»: человек, который ничего не мог рассказать о прошлом и ничего пообещать о будущем, оставлял себе одно, что принадлежало ему целиком, – начало дня. Теперь я знаю, что в этом была не только слабость. Но тогда, в четырнадцать лет, я сделал вывод попроще: слова опасны, и лучшее, что с ними можно сделать, – держать при себе. Заметил я свою ошибку только через девятнадцать лет.

---

[6] Проверочно-фильтрационные лагеря НКВД – лагеря, созданные в конце 1941 года для проверки военнослужащих, вышедших из окружения или вернувшихся из плена, а затем и репатриированных граждан; через них прошло более четырёх миллионов человек. По итогам проверки одних отпускали домой, других призывали в армию, третьих направляли в рабочие батальоны, часть передавали органам НКВД. По данным на 1946 год, из бывших военнопленных домой отпустили примерно каждого пятого, около 43 % вернули в армию, около 22 % направили в трудовые батальоны, около 15 % передали НКВД.

Глава 12

На сороковой день, в конце марта, в Мосты приехал человек, которого я никогда не видел: сухой, жёлтый, с вытекшим левым глазом, в залатанном пиджаке поверх телогрейки. Он назвался Тимофеем Кузьмичом, сказал, что был с отцом в одном лагере, о смерти узнал от земляка, а добирался двое суток на попутках и пешком. Мать накрыла на стол, поставила бутылку, оставшуюся с поминок, он выпил стакан, не закусывая, и долго смотрел на меня одним глазом. «Весь в Андрея, – сказал он. – Только тот помягче был». Потом, когда мать вышла к корове, он начал говорить, не глядя на меня и не останавливаясь, потому что двенадцать лет носил это в себе.

Он рассказал, что лагерь был в чистом поле, за проволокой в три ряда, без бараков, и что первую зиму они спали в ямах, вырытых руками, накрывшись друг другом, и к весне из четырёх тысяч осталось тысячи полторы. Умирали от голода и тифа, а иногда просто переставали вставать. Отец, по его словам, не отстал ни от кого: делился тем, что было, хоронил, когда приказывали хоронить, а потом лежал, молчал, глядя вверх, и по ночам повторял одну и ту же фразу, которую никто не понимал, пока кто-то не разобрал, что он говорит себе «ну, пошёл», как будто собирается выходить из дому. «Мы его за это Ходоком прозвали», – сказал Тимофей и невесело усмехнулся.

Потом он рассказал про политрука. В их яме лежал человек, который скрывал должность, обменявшись гимнастёркой с мёртвым, и об этом знало человек десять. Осенью пришёл переводчик из лагерной администрации и стал спрашивать, есть ли среди них коммунисты и командиры, обещая за указание хлеб и тёплый барак. Люди молчали. Тогда взяли первых десятерых и стали бить прикладами по очереди, каждого, пока кто-нибудь не скажет. «Андрей лежал, – сказал Тимофей. – Рука у него уже тогда висела, он ею еле ворочал, и ему ударили как раз по этой руке. Три раза. Он не закричал, зубами скрипел, потом отключился. Ни слова. А политрук выжил и до сорок пятого дотянул».

В конце он заговорил о том, ради чего, как мне показалось, и приехал. После освобождения их с отцом отправили в один проверочный лагерь, в разные бараки, и следователь, молодой, чистенький, с аккуратным пробором, несколько раз вызывал Тимофея и предлагал бумагу: подписать, что отец в плену вёл антисоветские разговоры. Тимофей отказывался, но дело затягивалось, и через два месяца он узнал, что такую же бумагу, только на него, предлагали подписать отцу. «Подпишешь, – сказали Андрею, – выйдешь в августе». Он не подписал. Он вышел в октябре. «А я бы подписал, – сказал Тимофей и посмотрел в стакан. – Мать твою, Миша, я бы подписал. Я же думал, он подпишет. Потому и приехал, чтобы ты знал, какой у тебя был отец».

Ушёл он на следующее утро, не дожидаясь завтрака, и больше я его не видел. Мать, вернувшись, ни о чём не спросила, но, уловив что-то в моём лице, села рядом и сказала: «Теперь понимаешь, почему он не говорил? Не потому что боялся. Каждое слово там весило человека». Я кивнул и опять понял половину.

Теперь, перечитывая этот рассказ, я не уверен ни в одном его слове, и не потому, что Тимофей мог лгать, а потому, что я слушал его четырнадцатилетним, после стакана, который налил ему сам, и пересказываю шестьдесят семь лет спустя, дополняя паузами и ямами то, что в тот вечер было, вероятно, сбивчивым пьяным бормотанием без начала и конца. Мать говорила, что бумагу отцу дали потому, что он нигде не соврал, а Тимофей говорил, что он не подписал донос; одно не противоречит другому, но и не совпадает с ним, и какую из двух версий отец выбрал бы сам, я за все эти годы так и не решил. Не могу я поручиться даже за то, какая именно рука у него была больная: пишу «левая», потому что так написал в начале, а проверить некого.

Глава 13

Той же весной, в апреле, мы с Фёдором Сомовым обрезали отцовские яблони. Сомова позвала мать, сказав, что одному мне не справиться, а в колхозе нового сторожа ещё не поставили, и Фёдор пришёл с ножовкой и садовыми ножницами, и поглядел на меня, на деревья, на яму у забора, и сказал: «Начнём с этой. Он всегда с неё начинал». Работали мы молча, он отрезал, я таскал, и костёр, который мы развели из сырых веток, дымил так густо, что глаза слезились, и я видел, что Фёдор отворачивается и вытирает лицо рукавом, хотя ветер дул в другую сторону.

К костру вышла Вера с охапкой веток. Поставила их рядом со мной, посмотрела серыми, чуть раскосыми глазами и сказала: «Ты теперь без отца, значит, главный в доме». Я не нашёл, что ответить, и стоял столбом, а она, не дожидаясь, повернулась уйти, но ветер переменился и понёс на неё дым, и волосы её на секунду скрылись в нём, а когда она вышла, они пахли яблоней. Мне было четырнадцать, ей тоже. На этом, пожалуй, вся первая любовь и закончилась, потому что остальное было потом, и оказалось сложнее, но суть уместилась в этот миг.

Я хочу записать это точно, потому что сегодня, стоя у чужого забора, понял одно, до чего не доходил шестьдесят семь лет: запах не напоминает о прошлом, он и есть прошлое, самое надёжное, что от него осталось. Лица забываются, слова путаются, даты съезжают, а дым остаётся прежним, и в ту секунду, когда он коснулся меня, мне снова стало четырнадцать, и вместе с четырнадцатью годами вернулось всё, что случилось потом.

Часть третья. Саратов, 1960–1965

Глава 14

В шестидесятом я окончил десять классов, и мать, которая не умела читать ничего, кроме квитанций и писем от двоюродной сестры из Балакова, отвела меня за печь и сказала: «Учись, Миша. Хоть на кого, лишь бы не в колхоз». Я хотел в лётчики, как все мальчишки в те годы, но на медкомиссии у меня нашли близорукость, и тогда я стал перебирать всё, чем можно заниматься и при этом ходить по земле. Выбрал я геологию, хотя камней не любил и не знал: просто в геологии надо много ходить, а ходить я умел и боялся сидеть на одном месте. Отцовский нож я оставил в сундуке, потому что в городе он, как мне казалось, будет выглядеть вещью из другой жизни, и этот первый маленький стыд за своё происхождение я помню лучше многих больших.

Поступил я в университет в Саратове[7] с первого раза, что считал тогда чудом, а теперь считаю просто подтверждением того, что деревенские мальчишки в те годы учились отчаянно, потому что другого выхода у них не было. В Саратов я ехал на попутной полуторке с мешком картошки, банкой солёных огурцов и деньгами, которые мать собирала полгода. В конце дороги, когда машина поднялась на последний холм, я увидел внизу город и Волгу, и понял, что никогда не видел такого количества воды сразу: река там шире, чем у нас, и в ней отражается небо, трамваи, мост, а на другом берегу лежит розовая в закатном свете степь. Шофёр, пожилой, с рябым лицом, глянул на меня и сказал: «Первый раз? Ничего. Привыкнешь».

Жил я в общежитии на третьем этаже, в комнате на шестерых, где стояли кровати, стол и чайник с отбитой эмалью. Соседями оказались Лёха Пахомов из Донбасса, сын шахтёра, широкоплечий, с руками, которые могли разогнуть подкову; Рафик Измайлов из Казани, тощий и смешливый; двое ребят из Балашова, неразлучных, похожих друг на друга, как два сапога; и Боря Кац из Одессы, который читал на ночь стихи вслух и не стеснялся этого. Первую неделю я молчал. Они это заметили, и Лёха, который соображал быстрее, чем казалось, сказал на седьмой день за ужином: «Ларин, ты как будто за каждое слово платишь. Расслабься, у нас тут бесплатно». Все засмеялись, и я тоже, но ответить не смог.

Город оказался огромным, шумным и совершенно не обращавшим на меня внимания, а я привык, что в Мостах каждая бабка знает, чей ты сын и чем твой отец провинился перед людьми. Я ходил по улицам с гудящей головой, смотрел на витрины с радиоприёмниками, на очереди за арбузами, на милиционера в белых перчатках, регулирующего движение на углу, и чувствовал, что освобождаюсь от какой-то тяжести, которой раньше не замечал. Вечером я возвращался в комнату, ложился на койку и слушал, как Боря Кац читает Багрицкого, и думал, что здесь меня никто не знает, а значит, и спрашивать некому.

[7] Саратовский государственный университет, основан в 1909 году.

Глава 15

На первом курсе общую геологию у нас читал доцент Борис Михайлович Ермолов, невысокий, хромой, с острым серым лицом, фронтовик, который о войне не говорил ни слова. Он приходил в аудиторию с куском породы в кармане, выкладывал его на кафедру и в первую же лекцию сказал то, что я потом повторял себе всю жизнь, иногда как заклинание, иногда как упрёк: «Камень не лжёт. Лжёт тот, кто его читает. Вам предстоит учиться не говорить того, что вы хотели бы увидеть». Он показал нам на разрезе, как слои ложатся один на другой, как редко они ложатся ровно, и как важно не отбрасывать тот, который не вписывается в схему. «Именно он, – сказал Ермолов, – самый честный. Остальные подтверждают то, что вы уже знаете, а этот сообщает то, чего вы не знали». Мне было семнадцать. Я записал эту фразу в тетрадь и подчеркнул дважды, хотя применить её к собственной жизни мне пришло в голову только через пятьдесят лет.

Практика после первого курса проходила в Заволжье, в двух днях пути от города, на меловых обрывах, где Ермолов водил нас вдоль оврагов и заставлял описывать каждый метр разреза. Он не терпел приблизительности. Если студент говорил «глина, наверное, серая», Ермолов брал горсть, растирал между пальцами, подносил к лицу и говорил: «Серо-бурая, с включениями гипса, влажная. Повторите». Мы повторяли. К концу второй недели я мог за минуту описать любой обнажённый склон так, что Ермолов кивал и больше ничего не говорил, а это было для него высшей похвалой.

В последний вечер практики мы сидели у костра, и Ермолов, против обыкновения, остался с нами: ребята пели вполголоса, Рафик бренчал на гитаре, а он сидел чуть в стороне, на брезенте, вытянув больную ногу к огню. Я оказался рядом, и он, глядя на пламя и не поворачиваясь, спросил, жив ли мой отец. Я сказал, что умер четыре года назад, и на вопрос, воевал ли, ответил: «Был в плену» – слишком быстро, так что сам заметил, как напряглись мои плечи. «Я не об этом спрашивал, – сказал Ермолов негромко. – Я спросил, воевал ли». «Воевал». «Вот и хорошо». Он больше не вернулся к этому разговору, но на следующий день, когда мы грузили вещи, подошёл и протянул мне свою полевую сумку: «Понесёте. У вас спина лучше моей».

Позже, на втором и третьем курсе, он иногда задерживал меня после лекций, спрашивал, что я читаю, и однажды дал «Записки охотника» с пометками на полях. Пометки были химическим карандашом, твёрдым почерком, и в одном месте, у фразы Тургенева «Я не мог ничего сказать, но мне стало стыдно», рядом стоял знак вопроса и дата: сорок девятый год. Спросить я не решился. Спустя много лет, в Саратове, я услышал историю, которая могла объяснить этот знак, но в ней я до сих пор не уверен, и расскажу её на своём месте.

Глава 16

Вера поступила в тот же год на химический и поселилась в женском общежитии на другой стороне двора, но семь месяцев мы с ней не встречались. Я избегал её сознательно: мне казалось, что деревенская жизнь это одно, а городская совсем другое, и смешивать их не стоит. Иногда я видел её издали, во дворе или в столовой, с подругами, уверенную, с тяжёлой косой, переброшенной через плечо, и отворачивался.

Двенадцатого апреля шестьдесят первого года всё решилось само, без моего участия. Радио в общежитии заговорило в начале одиннадцатого, и за полчаса весь корпус высыпал на лестницы, в коридоры, потом на улицу, люди обнимались, плакали, кричали что-то нечленораздельное, и мы, вчерашние школьники, ещё не понимали, что нам предстоит прожить всю жизнь в стране, где это случилось. К вечеру пошёл слух, что человек, которого вся страна уже называла по имени, приземлился где-то рядом, в поле за Волгой, под Энгельсом[8]. Мы пошли на набережную всей комнатой, по дороге нас становилось всё больше, а на набережной стоял весь город, и я, прижатый к чьей-то спине в сером плаще, почувствовал, что спина обернулась. Это была Вера.

«Ну, Ларин, что ж ты не здороваешься? – сказала она, перекрикивая шум. – Тоже мне землячок». Она смеялась, на щеках у неё были красные пятна, и я неожиданно для себя взял её за рукав и сказал: «Вера, он же приземлился совсем рядом». «Знаю, – ответила она. – Теперь всё будет по-другому». Мы стояли на набережной до ночи, потом пошли пешком к общежитиям, не разбирая дороги, и разговаривали обо всём сразу, перебивая друг друга и не выбирая слов, чего между нами не случалось ещё ни разу. Я понял в ту ночь, что семь месяцев избегал себя рядом с ней, а город и деревенское прошлое были тут ни при чём.

Дальше всё пошло так просто, что рассказывать почти нечего. Мы стали ходить вместе после лекций, гуляли по набережной, ели в столовой пирожки с повидлом, ездили на выходные в Мосты на попутках, шли от шоссе пешком вдоль Волги, и она рассказывала мне про свои реакции и растворы, а я ей про пласты и разломы, и оба смеялись над тем, что говорим на разных языках и понимаем друг друга. Вера училась лучше меня, быстро и без усилий, знание давалось ей само, а мне приходилось его вырывать, и когда на втором курсе она получила повышенную стипендию, а я нет, она спросила: «Ты на меня обиделся?» «На что?» «Не знаю. Ты как-то странно молчишь». «Я всегда так молчу», – сказал я, и это была правда, и она, поглядев на меня, сказала: «Вот поэтому и странно».

В Мостах мать встретила её настороженно: Вера принесла ей ситцевый платок, привезённый из города, и мать приняла подарок обеими руками, поблагодарила, поставила чай, а когда Вера вышла к колодцу, сказала мне вполголоса, что она хорошая, но слишком умная для тебя. Я возразил, что это неправда, и мать, не обидевшись, объяснила, что говорит не про ум, а про то, что Вера слышит всё, а ты нет.

Фёдор Сомов, Верин отец, в то лето показал мне свою руку. Мы пили чай во дворе, он сидел на лавке, положив правую руку на стол, и я невольно посмотрел на два обрубка вместо среднего и безымянного пальцев. «Чего глядишь? – сказал он. – Финская. Под Выборгом отморозил, в сороковом. Тоже мне тайна». Он усмехнулся и убрал руку под стол. «Вера думает, что я молчу из гордости, а я молчу, потому что рассказывать нечего: холодно было, пальцы почернели, фельдшер отрезал, я на него плюнул. Вся история». Вера потом долго не могла поверить, что вся история действительно такая, и несколько дней ходила задумчивая, а потом сказала

[8] 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в мире полёт человека в космос; спускаемый аппарат приземлился в Саратовской области; по официальной версии, у села Смеловка Терновского района на левом берегу Волги, но в других источниках место называют иначе.

мне, что, значит, придумала отцу героическое молчание, а оно оказалось просто молчанием. Я не нашёл, что ответить, потому что собственное моё молчание героическим не было вовсе.

Первый раз мы поцеловались летом шестьдесят третьего, по дороге в Мосты, когда нас не взяла ни одна попутка и мы шли от шоссе пешком одиннадцать километров, с рюкзаками, в сумерках, по пыльной дороге вдоль волжского откоса, где уже пахло полынью и нагретой за день глиной. На полпути Вера сняла туфли, потому что натёрла ногу, и мы сели на краю обрыва, откуда река была видна вся, тёмная и широкая, с огоньками бакенов, которые, как я знал с детства, зажигал старик из соседнего села. Вера сказала, глядя вниз, что отец до сих пор не рассказывает, как ему оторвало пальцы, а когда я заметил, что он говорил мне про обморожение, засмеялась: мать утверждает, что это случилось на лесопилке, и оба, конечно, врут. И я, сам не понимая зачем, рассказал ей то, чего не рассказывал никому: про серую бумагу с печатью, про лагерь, про то, что отец никогда ничего не говорил, а мать заговорила лишь однажды, после похорон.

Рассказывал я долго, о себе в третьем лице, не называя ни одного чувства, и когда закончил, Вера повернулась ко мне и спросила: «А ты что про это думаешь?» «Что тут думать. Время было такое». «Я не про время. Я про тебя». Я попытался сказать, что отец ни в чём не виноват, что его не за что судить, что он вернулся и жил достойно, но она перебила: «Миша, ты стыдишься его или нет?» «Нет, – ответил я. – Я не стыжусь. Я молчу». «Это одно и то же», – сказала она, и в голосе у неё не было злости, а была грусть, с какой говорят очевидное. Тогда я наклонился и поцеловал её, неловко, мимо губ, в уголок рта, она засмеялась и поцеловала меня сама, как надо, и от волос её, несмотря на июль, пахло дымом, не яблоневым, а простым печным, которым пахло в наших избах. С этим запахом она связана у меня до сих пор.

Когда мы шли уже в темноте по знакомой дороге, она сказала фразу, которую я потом слышал много раз: «Ты опять не договорил». Я спросил: «Что я не договорил?» «То, что хотел. Ты всегда останавливаешься за слово до». Я хотел возразить и понял, что возражать нечем.

Глава 17

Родителей Веры я увидел в ноябре шестьдесят второго, на втором курсе, когда она наконец решилась пригласить меня на воскресный обед. Решалась она месяц: всякий раз, когда я спрашивал, находилась причина, то у отца давление, то у матери гости, то ремонт, и однажды, после очередного «потом», я сказал, что могу вообще не приходить, раз это такое событие. Вера рассердилась и объяснила, что они хорошие, но она не знает, как меня им показать. «Показывай как есть», – сказал я. «Вот именно», – ответила она, и мы оба засмеялись.

Жили они в старом доме на Сакко и Ванцетти, на третьем этаже, в квартире, которая досталась её отцу ещё до войны и в которой за двадцать лет перебывало столько жильцов, что на косяках сохранились зарубки разного роста от разных детей. Отец, Яков Исаакович, высокий, сутулый, в вязаном жилете, преподавал математику в школе, а мать, Рахиль Моисеевна, работала в библиотеке, и обе профессии за долгие годы въелись в них: он двигался, как у доски, а она говорила вполголоса, как в читальном зале. Нас встретили в прихожей, и пока я снимал ботинки, мать, не отрываясь, смотрела на мои ноги, и я понял, что сейчас она видит дыры на носках, которых я не заметил, пока не разулся.

Стол накрыли по-праздничному, с белой скатертью, с хрусталём, который, видимо, стоял в серванте со дня свадьбы, и с таким количеством еды, что вся моя общежитская жизнь выглядела на этом фоне ошибкой. Был бульон с клёцками, была фаршированная рыба, о которой я слышал, но не пробовал, был картофельный пудинг, были маленькие пирожки с мясом и ещё что-то сладкое, с изюмом и орехами. Я ел молча, и Рахиль Моисеевна, наблюдая, как исчезает еда, говорила: «Берите, берите, молодым нужно». Яков Исаакович поглядывал на меня поверх очков и спрашивал о вещах, на которые невозможно было ответить с набитым ртом: откуда я родом, кем были мои родители, чем занимаются, почему именно геология.

Я отвечал честно, и это оказалось ошибкой. Когда я сказал, что отец был в плену, после плена прошёл проверочный лагерь, а потом сторожил колхозный сад, Яков Исаакович вдруг положил вилку и тихо переспросил, в плену ли, и Вера, сидевшая напротив, замерла. Я кивнул, и он спросил, так ли просто я говорю об этом, и на моё «а как мне ещё?» снял очки, протёр их салфеткой и надел снова. «Молодой человек, вы не представляете, как редко в этом доме говорят такие вещи за столом. Мой отец был репрессирован в тридцать седьмом, и мы об этом молчали двадцать лет. Я и сейчас не знаю, имею ли право спрашивать». «Имеете», – сказал я. Он улыбнулся одними губами: «Ну, тогда будем считать, что мы познакомились».

После обеда Рахиль Моисеевна позвала Веру на кухню помогать с посудой, а мы с Яковом Исааковичем остались в комнате, и он стал показывать мне книги, которых было много, до потолка, на трёх стенах, и он трогал корешки пальцами, здороваясь с каждым. Достав томик Пастернака, потрёпанный, без обложки, он сказал, что это Вере на память и что она читает его вслух, когда думает, что никто не слышит, и когда я признался, что слышал, поднял брови: «Значит, вы лучше, чем кажетесь». Потом он достал старое издание «Начал» Евклида и сказал, что взял бы эту книгу с собой в любое место, куда бы его ни отправили, а на мой вопрос, почему, ответил: «Потому что там всё доказано. Остальное, увы, просто сказано».

Мы пили чай, и Яков Исаакович, помешивая ложечкой, спросил как бы между прочим, люблю ли я Веру, и, пока я откашливался, смотрел на меня без улыбки. Он спрашивает не из любопытства, объяснил он: они с Рахилью давно решили, что им придётся её отпустить, потому что она у них не домашняя, но он хочет знать, кому. Я сказал, что люблю, и он кивнул: «Хорошо. Тогда запомните, что она вспыльчива, не прощает лжи и очень боится одиночества. Первое пройдёт, второе нет, а третье она не покажет вам никогда». Я хотел спросить, откуда ему это известно, но понял, что это отец, и он просто знает.

Когда мы прощались, Рахиль Моисеевна сунула мне в карман пальто свёрток, и по теплу сквозь бумагу я догадался, что это пирожки. Вера проводила меня до трамвая; был холодный вечер, с первым мокрым снегом, и она шла рядом, взяв меня под руку, и спросила, как всё прошло, а когда я ответил «хорошо», заметила, что они меня полюбили. «Откуда ты знаешь?» «Мама положила пирожки. Она никому не кладёт, даже мне, когда я уезжаю, говорит, что я и так толстая». Я засмеялся. На остановке, пока ждали трамвая, она стояла, прижавшись лбом к моему плечу, и сказала тихо: «Только пусть это будет не очень скоро». «Что?» «Всё, что дальше».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.